1

Я помню, что развлечений было не так уж много. Брошенный тир, гигантский тополь, идущие мимо товарные поезда. Мы считали вагоны с нефтью и бревнами, падали с дерева, воображали мишени среди зарослей лопухов. Но чаще всего мы слонялись – не гуляли, не ходили к знакомым, не шли по делам, которых у нас, конечно, не было, а именно слонялись. Наша соседка из второй квартиры Эгле, старше нас лет на десять, командовала «бабы, за мной!», и начинался стотысячный обход поселка. Выходя со двора, решали – налево – и тащились по обочине в сторону старого кладбища и Барсуковой горы.

Жаркая погода держалась несколько дней. Мы волочили ноги, взбивая сухую придорожную пыль и превращая ее в серое облако. Выслушивали последние новости. Эгле рассказывала, кто был в костеле, кто не был, кто растит астры и гладиолусы на продажу, а у кого внук попал в исправительное учреждение. Еще прибыл новый доктор из города. Он поселился в деревянном доме с остроконечной крышей, гигантским яблоневым садом и двумя подъездными дорожками. На одной из них теперь стоял его мотоцикл.

Городской доктор. Занял целый дом. И прямо рядом с нами. Захватил сад. Наверняка уже начал важничать. Вот так история. Дальше мы слушали вполуха. И даже перестали поднимать пыль. Теперь мы то и дело отлучались с обочины в придорожную канаву, где по пояс в метелках, которые вытягивают, чтобы сгрызть нежно-зеленый внутренний стебель, искали сюрприз для чужака. Наконец нашли – припорошенные землей, сгинувшие пару сезонов назад, распадающиеся на части башмаки.

Эгле смеялась и говорила «ой, не могу», а для нас дело было серьезным. У нас наконец была мишень. Мы подкрались к дому врача, на улице никого не было, перепрыгнули через железную калитку, пригнувшись, проскользнули к отдыхавшему в тени мотоциклу и водрузили на его коляску грязную, одеревеневшую пару обуви. А потом бежали не оглядываясь – прямо до нашего двора, бросив прихрамывающую подругу. Влетели с разбегу на второй этаж. И то ли день был слишком жаркий, то ли мы слишком пыльные и возбужденные, но дед объявил поход на озеро.

Еще событие, и все в один день! Мы снова шли по делу – теперь из двора направо: переходили железнодорожный переезд, миновали развилку, оставляли слева костел, справа моленную. Потом было три горы с приклеенными коровами на склонах и зарастающими песчаными колеями. С последнего холма бежали – под ним начиналось озеро, словно аккуратно вырезанное по береговой линии из фольги, сиявшей на солнце.

Мы переодевались, прыгали в воду, доплывали до цветущих белых лилий и желтых кувшинок. Ныряли

в холодную черную глубину и через пузырившуюся зелень возвращались на поверхность. Плыли к берегу, скакали по пояс в воде, звали деда купаться. И в этих брызгах отражались вагоны и деревья, яблоки и астры, дворы и калитки, в них объединялся весь маленький летний поселковый мир. Не отражался только доктор на своем мотоцикле с коляской. Потому что этот мир принадлежал нам. Чужакам там не было места.

2

Следующий день был днем без происшествий. Из них для нас и складывалась канва каждого лета – из одинаковых, бесконечных дней, которые длились и длились. Казалось, их производили на конвейере.

Мы проснулись, перекинулись приветствием через книжный шкаф, который разделял наши постели – диван и тахту, вскочили, позавтракали. Вышли во двор. С нами были растерявшая яркость выбивалка и свернутый в трубочку бурый ковер. Мы набросили ковер на железную перекладину и начали выстукивать по нему неспешный ритм неизвестной песни. Ковер колыхался, отпуская на волю скопившуюся пыль. Потом пыль кончилась, но мы все продолжали выстукивать свою мелодию. Так и стучали, пока ковер не соскользнул и не лег на траву – неровной волной, мы сели на него и представили, что летим прочь со двора…

– Давайте его обратно, – приказывала бабушка в вечно открытую форточку.

Мы скатывали ковер вместе с прицепившейся травой и устремлялись наверх. Скидывали ковер в прихожей. Получали эмалированную кружку, шли за ягодами для компота – сначала на ближний огород, потом на дальний. Возвращались обратно – мимо старого тира и высокого тополя, мимо сажелки и зарослей шиповника, твердые плоды которого уже начинали рыжеть. Обходили сараи кругом, смотрели на соседских кроликов. В этот раз поднимались на второй этаж как в замедленной съемке, чтобы растянуть время, по дороге проверяли все четыре почтовых ящика – одна газета, ноль писем, добирались до квартиры, открывали дверь, ставили на трюмо металлическую кружку с ягодами. Звяк. Сами оставались в подъезде. Коричневая дверь с номером восемь захлопывалась. До обеда дел больше не было.

Казалось бы, день, в который ничего не случилось. Но вот я потянула воспоминания за ниточку, и на меня обрушивается целый шкаф предметов и ощущений. Тут нет продуманного действия, как и в том лете, о котором я говорю. Оно бессюжетно. Мы были предоставлены сами себе. Мы бродили без дела. Маршрут в сторону станции. Вот побеленный глинобитный дом старухи Мамзелевой, чьи куры без спроса заходят в наш двор, вот дощатый бордовый дом женщины с беспорядочными крашеными кудрями, она живет с кривой, вечно завывающей собакой. Вот вросший в землю салатовый дом с брошенным огородом. Я до сих пор помню этот маршрут наизусть. Помню и это чувство – бесконечного дня в одних и тех же декорациях. Сейчас таких дней больше не бывает, как нет и большинства вещей и некоторых героев этой истории. Хотя доктор наверняка еще жив. Может, пора проведать доктора?

Так думали и мы с сестрой тем далеким летом. Нам было интересно и страшно. Интересно, важничает ли он теперь, обнаружив черную метку на своем мотоцикле? Страшно – а вдруг он нас видел и узнает? Мы дошли до станционных складов. Возвратились коротким путем через кочки и овраги. Снова прокрались к саду доктора – мотоцикла нет, ботинок тоже.

Мы наблюдаем за солнцем. Когда оно касается верхушки ели, которая одиноко растет в поле и видна с нашего балкона, возвращаемся во двор. Идти за молоком рано. «Только бы завтра пошел дождь», – думаем мы, а может, говорим вслух. Пока нет дождя, мы все время на улице. Это какой-то особый договор, который заключила бабушка с кем-то, кого мы не знаем, договор, которому мы безоговорочно подчиняемся. Поэтому мы обращаемся к заведующему дождями. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, заведующий дождями!

По двору вдруг растягивается шланг – от окна второй квартиры в сторону клумб и огородов. Эгле открывает кран. Шланг оживает, и его конец пляшет, выплевывая воду на траву. Мама Эгле начинает вечерний полив: огород – грядка за грядкой, теплица с помидорами, потом клумбы – розы, пионы, гвоздики. Воду никто не экономит, вместо твердой серой земли оставляют мягкую и черную с лужами. Потом шланг передают нам, мы можем полить клумбы нашего подъезда. «Аккуратно, цветы, не лейте сверху, не побейте бутоны, не ломайте листья». Но даже этот постоянный надзор не мешает нашему счастью. Мы запускаем струи в воздух – они опадают каплями, поливаем друг друга, оставляем глубокие следы в земле, заполняем их водой, меняем цвет камней с сухого на мокрый. Цветам тоже достается.

Утром мы просыпаемся под перестук дождя. Он бьет звонко в стекло, глухо в жестяной подоконник. Мы наконец-то остаемся дома. Можно читать,

разбирать открытки учеников – бабушка и дедушка бывшие учителя, перебирать старые фотографии, нюхать дедовы сигареты в баре, мечтать о том, чтобы вырасти и начать курить «Клайпеду». Дожди в Литве идут несколько суток подряд. Когда дождь кончится, будет день, дед возьмет нас в библиотеку, в лес или снова на озеро.

Спасибо, заведующий дождями. Твоя мишень – серый двухэтажный дом по Тильжанской улице. В нем два подъезда, четыре балкона и восемь квартир. Не промахнись.

3

Точно так же не должна промахнуться моя память. Потому что тем летом я нашла свою шляпу. И потому что в подъезде лестниц было две. Одна – наверх, к свету. Другая – вниз, в темноту.

К свету мы поднимались по много раз за день – попить, поесть, занести библиотечную книгу, передать собранные ягоды в железной эмалированной кружке – на дне крупная клубника и крыжовник, сверху завиток красной смородины. Вечером дневной свет подъезда сменялся электрическим. И мы летели на него, как непутевые, беспокойные мотыльки, – найти кофту, взять бидон в кладовке, обуться. Потом возвращались с молоком и уже навсегда. Сидели на кухне и смотрели на поселок, переживший еще один день. Поселок состоял из сумеречных клумб, сараев, огородов, нового района и светящихся прямоугольников окон – у тех, кто тоже не спал.

Вторая лестница всегда была темной. Справа был выключатель – весь в побелке или в крошках осыпавшегося раствора. Он зажигал хилую лампочку внизу за поворотом, которая не справлялась с темнотой, скорее, чуть-чуть ее растворяла. Загорится – и, если никто не видит, можно спускаться, хотя вообще-то не по себе. Одна ступенька, две, три, ноги чувствуют шершавый холод бетона. Он кажется потусторонним после раскаленного двора с пятном пузырящейся на солнце смолы… Последняя ступенька, поворот, провал коридора с деревянными ящиками и облезлыми дверями. Подвалы! Мы проверяем каждую дверь, все – заперты…

Даже в свой подвал мы можем попасть только в сопровождении деда. Только когда бабушка нет дома. «И где вашу бабушку черти носят», – говорит дед и берет ключ. Откуда? Тут есть разногласия – я точно помню, что ключ лежал в деревянном стакане, расписанном под хохлому, а стакан стоял на холодильнике. Другие полностью уверены, что ключ хранился в крайнем ящике трюмо, а трюмо стояло в коридоре. В любом случае мы с ключом спускались со второго этажа на первый, а потом по той самой лестнице. С дедом мы имели на это полное право. И чуть растворенная темнота переставала быть такой уж опасной.

Дед открывал дверь нашего подвала. Зажигал еще одну слабосильную лампочку. Мы входили и попадали в окружение, в плен старой жизни. Тут были ракетки от бадминтона, прошлогодние спущенные мячи, потрескавшиеся и вышедшие из моды сумки, побитые жизнью кувшины и тазы, связки шахматных журналов, среди них – полинявшие вырезки из «Книжного обозрения», ящик с проращённой картошкой. Все это было в пыли, причем не мягкой квартирной и слегка серой, а в более грубой и ощутимой пыли, с примесью чего-то строительного. И в паутине. В полу была дыра, в ней уже несколько месяцев стояла весенняя вода. Сырой запах делался резче.

Мы всегда спускались в подвал за чем-то – за банкой соленых огурцов или варенья. Но нас меньше всего интересовали запасы. Дед никогда не спешил и давал нам время осмотреться, уйти наверх с добычей. В результате из подвала в квартиру перекочевали губная гармошка, глобус, старорежимные платья. Бабушка презирала подвальные тряпки – из-за сырого, затхлого запаха, который невозможно было истребить. Два цветных платья «как у взрослых» из блестящего материала пришлось вернуть. Зато я оставила себе шляпу, найденную где-то на третьей полке между ракеткой и клубничным вареньем.

С шляпой я провела самое счастливое лето. Шляпа из прозрачной ленты с вкраплениями зеленого и оранжевого была остроконечной, с довольно широкими полями. Я надевала ее во двор и в лес, ходила в шляпе в новый район и за молоком. Шляпа ночевала рядом с моим диваном. Наконец у меня появился уникальный предмет гардероба. Это была не новая китайская рубашка, которую я иногда просила у Бога в костеле, нет, это была моя собственная шляпа, а шляп ни у кого больше не было.

Через пару недель шляпа начала распускаться – лента разматывалась, поля становились уже, шляпа превратилась в колпак, а потом начала исчезать. В конце концов осталась только прозрачная тесьма с чем-то оранжевым и зеленым.

Я храню память о подвальной шляпе. И когда думаю о доме, где мы жили летом, темная лестница кажется важнее светлой. Когда-то она нарушала одинаковое течение дней и в конце концов оказалась честнее: квартира давно продана, подвал брошен, а я брожу с фонарем в темноте воспоминаний.